

A person with long red hair, seen from behind, stands on a high vantage point looking over a sprawling, futuristic city. The city is a dense collection of skyscrapers, many of which are integrated with lush green plants and trees, suggesting a vertical garden or a city designed for sustainability. The architecture is a mix of modern glass and steel structures and older, more classical buildings. The sky is filled with various flying vehicles, including drones and larger aircraft. The overall atmosphere is one of a vibrant, technologically advanced yet nature-integrated urban environment.

Хроники пустоты

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Хроники пустоты

<https://litres.ru/74254849>

SelfPub; 2026

Аннотация

Её нашли на сороковой день после того, как мир умолк. Девушка без имени, с арбалетом за спиной и псом, который не лаял. Она шла через город одна — там, где даже мародёры боялись дышать. На стенах пульсировал Мицелий. В тенях двигались те, кто перестал быть человеком. Но они её не трогали. Почему?

В рюкзаке у неё нашли дневник. Первая запись: «День 0. Тишина в эфире». Последняя: «Я — ключ». Между ними — карта крыш, формула сыворотки и засушенный цветок, проросший сквозь асфальт. Кто она? Что видела в глубине улья? И почему те, кто носит белые халаты, охотятся за ней с той же яростью, что и чудовища?

Содержание

Глава 1: День 0. Тишина в эфире	4
Глава 2: День 3. Эффект свидетеля	32
Глава 3: День 7. Закон джунглей	57
Глава 4: День 14. Гнездо	75
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Сергей Патрушев

Хроники пустоты

Глава 1: День 0. Тишина в эфире

Тишина разбудила Еву мягко, но неумолимо — как поднимающаяся ледяная вода, которая сперва кажется безобидной прохладой, ласкающей кожу в жаркий полдень, но с каждой секундой проникает все глубже, сковывая мышцы холодом, о существовании которого ты успел забыть. Она открыла глаза и несколько секунд просто смотрела в потолок, пытаясь уловить привычный гул мегаполиса за окном. Белый потолок с едва заметной трещиной в углу, которую она машинально отмечала каждое утро, был все тем же, но мир за ним неумолимо изменился. Ничего. Ни гула. Ни низкой, вибрирующей басовой ноты бесчисленных моторов, сливающихся в единый пульс города, ни высокого, почти комариного писка электрических проводов. Она села на кровати, простыня соскользнула с плеч, обнажая бледную, чуть веснушчатую кожу, и замерла, прислушиваясь всем телом, каждым нервным окончанием. Город молчал.

Не так, как молчат города в три часа ночи, когда даже ноч-

ные бабочки-гуляки уже спят, а редкие машины лишь шелестят шинами по мокрому асфальту, разбрызгивая лужицы вчерашнего дождя. Не так, как молчат города в редкие праздничные утра, когда весь мегаполис, кажется, выдыхает единым организмом и позволяет себе еще час сна. Нет, эта тишина была другой — плотной, почти осязаемой, как слой стерильной медицинской ваты, обернувший весь мир, заглушивший его биение и оставивший лишь звенящую пустоту. Это была тишина, которая не просто отсутствие звука, а нечто присутствующее, давящее на барабанные перепонки, заползающее в уши мягкими лапами и устраивающееся там, как незваный гость. В такой тишине слышишь, как кровь бежит по венам, как бьется сердце, как с легким скрипом двигаются суставы, когда поворачиваешь голову. Собственное тело становится невероятно громким, и это пугает едва ли не больше, чем безмолвие снаружи.

Ева машинально потянулась к телефону на тумбочке — тот самый рефлекс современного человека, который за годы превратился в такой же естественный утренний ритуал, как умывание или зевота. Черный экран. Не тот черный, который бывает в выключенном состоянии и все еще хранит в себе потенциал включения, а мертвый, безжизненно-черный, как поверхность застывшей нефти. Она нажала кнопку — никакой реакции. Ни привычной вибрации, ни вспышки экрана с приветствием, ни мягкого свечения, разгоняющего

утренний полумрак. Странно, она точно помнила, что ставила его на зарядку перед сном — этот ритуал был доведен до автоматизма за годы, и она скорее забыла бы почистить зубы, чем оставить телефон без питания. Может, сломалось зарядное устройство? Перетерся кабель, который она уже месяц обещала себе заменить и все откладывала? Или розетка? Она щелкнула выключателем настольной лампы — бездумный жест, выполненный в надежде, что уж лампа-то, верный старый друг, не подведет. Ничего. Лампочка молчала с тем же тупым безразличием, что и телефон. В груди неприятно кольнуло — то самое чувство, когда реальность дает первую крошечную трещину, и в нее начинает сочиться что-то холодное и липкое. Перебои с электричеством в их районе случались редко, буквально раз-два в год, и обычно длились не больше получаса, но такое полное отсутствие света и звука настораживало до мурашек. К тому же, резервный аккумулятор для роутера, который она предусмотрительно купила после прошлогоднего тайфуна и которым втайне гордилась, должен был работать еще как минимум час. Она помнила зеленый индикатор на нем, весело подмигивающий вчера вечером, обещающий защиту от любых сюрпризов.

Босиком, чувствуя холод ламината, который за ночь остыл до температуры льда, она прошла на кухню, ступая почти бесшумно, словно боялась разбудить кого-то невидимого. Каждый шаг отдавался легкой вибрацией в позвоночнике, и

она вдруг остро ощутила, насколько тонка подошва ее ног, насколько беззащитна плоть перед твердым покрытием пола — мысли, которые никогда не приходят в голову в нормальной жизни. Холодильник не гудел. Этот факт поразил ее больше, чем молчание телефона. Холодильник был константой, незыблемым монолитом быта, его ровное, утробное урчание было фоном всей ее жизни в этой квартире. Теперь он стоял безмолвный, тупой и громоздкий, как саркофаг. Чайник не светился голубой неоновой подсветкой, которая обычно мягко очерчивала его контуры в темноте. Окно выходило во внутренний двор-колодец — серую бетонную шахту, в которую упирались окна пятидесяти квартир, — и, выглянув, она увидела то же самое, что чувствовала: ничего. Соседние окна были темны, даже те, где обычно горел ночной свет или экран телевизора, где даже в четыре утра можно было увидеть бледный отсвет монитора за тонкой занавеской.

Ева поежилась, и этот жест был не столько реакцией на холод, сколько физическим проявлением того внутреннего сжатия, которое охватывает человека перед лицом необъяснимого. Она накинула издававший виды флисовый халат — старый, с катышками на рукавах и выцветшим рисунком, когда-то бывшим ярко-бирюзовым, а теперь напоминавшим цвет больничных стен. Этот халат был ее броней, ее коконом, знакомым и уютным предметом, который она носила

все студенческие годы. Он пах домом, сухим теплом и едва уловимым ароматом стирального порошка. Завернувшись в него поплотнее, она подошла к окну в комнате, выходящему на оживленную улицу — ту самую, шум которой был ее вечным спутником, от которого она иногда уставала, но который теперь отдала бы что угодно, чтобы услышать снова. Обычно в это время, в семь сорок три утра — она машинально взглянула на механические наручные часы, доставшиеся от бабушки, которые только и продолжали работать во всей квартире, — улица уже гудела: трамваи, автобусы, бесконечный поток машин, спешащие на работу люди с картонными стаканчиками кофе в руках.

Сейчас же она увидела нечто сюрреалистичное, выходящее за рамки привычного уличного пейзажа так же решительно, как если бы посреди дороги вырос тропический лес. Машины стояли. Они не парковались аккуратно вдоль тротуаров, не были прижаты к бордюрам в соответствии с правилами дорожного движения — они просто замерли на проезжей части, в неуклюжих, неестественных позах, как застигнутые врасплох игрушки, брошенные гигантским ребенком. Одна, вишневая легковушка, которую она, кажется, видела и раньше паркующейся у их дома, остановилась прямо посреди трамвайных путей, перегородив рельсы под углом, водительская дверь приоткрыта — темная щель зияла как безмолвный крик. Ни одна аварийная лампочка не мигала.

Ни один стоп-сигнал не горел. Светофоры погасли, их черные глазницы смотрели пусто и бессмысленно, лишившись своей власти над потоками людей и машин, превратившись в бесполезные металлические коробки на столбах. Это зрелище завораживало и пугало одновременно, как внезапно остановившийся часовой механизм, как замершая музыкальная шкатулка, в которой балерина застыла в нелепом полупируэте.

Она бросилась обратно к телефону, схватила его с тумбочки и сжала в руке, будто это был талисман, способный вернуть реальность, амулет, который нужно лишь правильно активировать. Бесполезный кусок пластика и стекла, холодный и равнодушный, легший в ладонь мертвым грузом. Она провела пальцем по экрану, нажала все кнопки сразу, зажала боковую клавишу до боли в пальце — ничего. Абсолютное, тотальное ничего. Ева была студенткой-биологом, привыкшей к рациональному объяснению вещей, к тому, что у каждого явления есть причина, а у каждой причины — механизм. В природе все подчиняется законам, даже то, что на первый взгляд кажется хаосом — так говорил их профессор на первой лекции по общей экологии, и она свято в это верила. Сейчас она отчаянно пыталась уложить происходящее в какую-то логическую схему, натянуть сетку привычных концепций на эту расплывающуюся реальность. Массированный блэкаут? Но тогда почему не работает телефон? Сотовая

связь должна была бы функционировать на резервных источниках питания — на каждой вышке стоят дизельные генераторы, способные поддерживать сигнал часами. Электромагнитный импульс? Эта мысль заставила ее сердце сжаться в холодный, твердый комок, будто внутрь грудной клетки залили жидкий азот. Ева вспомнила лекцию по биофизике о воздействии электромагнитных полей на живые организмы — монотонный голос преподавателя, схемы на пыльной доске, — но то, что приходило в голову сейчас, было из области фантастики и страшилок про ядерную войну. ЭМИ, достаточно мощный, чтобы вывести из строя всю электронику в городе, означал бы ядерный взрыв на большой высоте. Но она не слышала взрыва, не видела вспышки. Или слышала и видела, но во сне? Или это произошло так высоко и далеко, что звуковая волна еще не дошла? От этих мыслей голова шла кругом.

А потом воцарилась настоящая, полноценная тишина. Та тишина, которую она начала осознавать не сразу, потому что к первой, явной тишине отказавшей техники добавилась вторая — исчез даже тот едва уловимый, привычный уху звуковой фон, который создавали, казалось, сами стены: вибрация лифтов, гул вентиляций, тонкий свист газа в трубах, далекий рокот теплотрассы. Все эти звуки были подкладкой цивилизации, ее неслышным дыханием, и только теперь, когда они пропали, Ева поняла, насколько они были вездесу-

щи. Они составляли акустический ландшафт ее жизни так же, как свет, как воздух. Теперь не осталось ничего. Только тишина, звенящая в ушах высоким, пронзительным тоном — как после рок-концерта, только без самого концерта, без музыки, без толпы. Лишь этот тон, и больше ничего.

Внезапно эту ватную тишину разорвал далекий, истеричный женский крик. Он донесся откуда-то из глубины двора, из лабиринта кирпичных стен и заасфальтированных проездов, резкий, полный животного ужаса — того самого, первобытного, который не спутаешь ни с чем. Крик, который не просит о помощи, а просто выплескивает наружу переполняющий человека страх, как пар вырывается из перегретого котла. За ним последовал мужской окрик, громкий, но неразборчивый, — отдельные гортанные звуки, долетевшие до нее искаженными и лишенными смысла, как слова чужого языка. Ева вздрогнула и инстинктивно отшатнулась от окна, прижавшись спиной к стене, сердце колотилось где-то у горла, пульсировало в висках. Она почувствовала себя добычей, застигнутой на открытом пространстве, и это чувство было древним, генетически записанным где-то в самых глубинных слоях мозга. Она вернулась в комнату, стараясь двигаться бесшумно, нашла на ощупь свой рюкзак и, покопавшись в нем среди учебников, ключей, рассыпанных леденцов и прочей повседневной мелочи, вытащила старый, еще с довузовских времен, ежедневник в твердой обложке и ручку.

Ежедневник был потертым, с загнутыми уголками страниц, со следами пролитого когда-то кофе на обложке — верный спутник, переживший подготовительные курсы, выпускные экзамены и первые сессии. Не отдавая себе полного отчета, зачем она это делает, движимая каким-то смутным внутренним импульсом, она открыла его на первой чистой странице. Это было импульсивное, почти детское желание зафиксировать момент, оставить свидетельство, что она здесь, она существует, и мир вокруг нее только что сделал резкий, немыслимый поворот. Бумага приняла бы ее слова, когда все цифровое отказало.

«День 0, — вывела она шариковой ручкой, стараясь, чтобы почерк был ровным, хотя пальцы слегка дрожали, а линии получались неровными, прыгающими. — Связь умерла. Не работает ничего. Машины встали. Соседи кричат. Что это? Если ЭМИ, то почему я жива? Я ничего не знаю». Она смотрела на эти строки, такие простые и такие беспомощные перед лицом случившегося, и думала о том, что где-то там, за стенами ее квартиры, миллионы людей сейчас испытывают то же самое — растерянность, переходящую в ужас. Она перечитала написанное. Выглядело глупо и по-детски, как записка в бутылке, брошенная в океан, но сам процесс письма немного успокаивал. Водить ручкой по бумаге, оставлять чернильный след, формировать буквы — это была магия порядка. В мире, где отказали все цифровые интерфейсы, где

погасли экраны и умерли пиксели, бумага и ручка становились последним оплотом порядка, последним бастионом человеческого разума. Аналоговый мир возвращал свои права, и Ева, сама того не осознавая, делала первый шаг в него.

Ева снова подошла к окну, но теперь встала сбоку, прижавшись плечом к стене, чтобы ее не было видно с улицы — лишь один глаз выглядывал из-за края шторы. За годы жизни в большом городе у нее выработался инстинкт осторожности, впитанный с молоком матери, которая всегда говорила: «Никогда не показывайся в окне, если что-то случилось». Теперь этот инстинкт заработал в полную силу, обостренный до предела. На улице начиналось движение, но совсем не то, к которому она привыкла. Это не был организованный поток пешеходов и машин, подчиняющийся невидимым правилам и сигналам. Это было броуновское движение частиц, потерявших направление, хаотичное и непредсказуемое. Люди выходили из остановившихся машин. Сначала робко, оглядываясь по сторонам, как зверьки, покидающие нору после землетрясения, потом все более решительно. Они доставали телефоны, подносили их к ушам, трясли ими в отчаянии, крутили в руках, будто надеясь, что от механического воздействия устройство оживет — бесполезные черные зеркала, не отражающие ничего, кроме испуганных лиц своих владельцев. Водитель автобуса на той стороне улицы открыл двери вручную, налегая на рычаг всем телом, и пассажиры

неуверенно высыпали наружу, сбиваясь в растерянную толпу на тротуаре, которая колыхалась, как студень, не зная, куда двигаться. Некоторые, самые нетерпеливые, пошли пешком по проезжей части, лавируя между замершими автомобилями, заглядывая в их пустые салоны с любопытством и тревогой.

Вся сцена казалась немым кино. Ева наблюдала, как открываются рты, жестикулируют руки в отчаянных, неловких движениях, но звуки едва долетали сквозь закрытое окно, приглушенные стеклопакетом и расстоянием в шесть этажей. Мир раскололся на визуальное и звуковое, и последнее отставало, как отстаёт звук от вспышки далекого фейерверка. Она видела, как мужчина в деловом костюме, дорогом, темно-синем, с блестящим галстуком, выйдя из черного седана представительского класса, в сердцах ударил кулаком по капоту — она увидела, как его рука взметнулась и опустилась, как дрогнул металл, — и только спустя секунду до нее донесся глухой, безжизненный удар, звук, лишенный всякого эха, поглощенный замершим городом. Электроника не просто умерла. Она как будто выпила с собой всю звучность мира, оставив лишь пустую оболочку, механические шумы человеческой агонии, стук кулаков по капотам, крики, хлопанье дверей — все это тонуло в бездонной вате тишины.

Внезапно она вспомнила про радио. Эта мысль пронзи-

ла ее как электрический разряд — яркая, острая, полная надежды. У нее был старенький портативный приемник, который она брала с собой на полевые практики — настоящий раритет, работающий на батарейках, купленный когда-то на блошином рынке за смешные деньги. В век стриминговых сервисов, подкастов и голосовых помощников он валялся в ящике стола как бесполезный артефакт, как каменный топор в музее современного искусства. Теперь же он стал ее единственной надеждой на связь, ниточкой, протянутой к внешнему миру. Ева кинулась к столу, выдвинула ящик с такой силой, что он чуть не вылетел из пазов, и, чуть не засмеявшись от облегчения — этот смех застрял где-то в горле, превратившись в судорожный выдох, — нащупала холодный пластик корпуса, шершавый от времени, с потертыми кнопками. Она щелкнула колесиком включения. Загорелся зеленый индикатор, крошечный, как светлячок в траве. Работает! Батарейки еще живые, старые батарейки, которые она забыла вынуть после прошлой практики, — теперь это казалось подарком судьбы. Динамик зашипел, этот звук показался ей сейчас прекраснее самой изысканной музыки, прекраснее симфонии, прекраснее оперной арии. Шипение было знаком жизни, знаком того, что где-то еще существует электричество, существуют радиоволны, существует мир.

Она начала медленно крутить ручку настройки, миллиметр за миллиметром, прижимая приемник к уху, как ра-

ковину, в которой надеются услышать шум моря. Шипение, шипение, треск. На средних волнах — ничего, только монотонный белый шум, космический фон, безразличный ко всему. Ева переключила диапазон на FM. Шипение сменялось лишь мертвой, глухой тишиной эфира, что было еще хуже — это означало, что станции просто не вещают, что их передатчики молчат, что люди, которые еще вчера говорили в микрофоны, крутили музыку, зачитывали новости, сегодня либо не могут, либо... Она отогнала эту мысль. Она крутила ручку, отчаянно вглядываясь в шкалу с цифрами частот, надеясь на чудо, моля вселенную, в которую никогда особенно не верила, чтобы хоть один голос пробился сквозь пустоту. И чудо случилось.

Сквозь помехи прорвался слабый, искаженный мужской голос, далекий, словно радиоволны добирались до ее приемника с другой планеты, преодолевая невероятные расстояния и чудовищные преграды. Ева замерла, боясь дышать, боясь, что биение ее сердца заглушит этот хрупкий, прерывистый звук, и до предела напрягла слух, превратившись в одно большое ухо. «...повторяем. Всем сохранять спокойствие. Власти работают над выяснением причин...» Голос пропал, растворился в визге помех, как будто его смыло волной статического шума. Она выругалась сквозь зубы и осторожно, на миллиметр, покрутила ручку, чувствуя, как капелька пота стекает по виску. «...вспышка неизвестного излучения

в верхних слоях атмосферы. Источник не установлен. Масштаб поражения глоба...» Снова треск, на этот раз окончательный, безнадежный. Как ни пыталась она вернуть волну, как ни крутила настройку вправо и влево, эфир молчал. Все, что осталось — это обрывок фразы, повисший в воздухе ее комнаты как призрак, как эхо. «Вспышка неизвестного излучения». Вот оно. Не просто блэкаут. Не террористическая атака на подстанцию. Не хакерский взлом энергосети. Что-то небесное, масштабное, не имеющее ни адреса, ни требования выкупа, ни политической программы.

Страх, который до этого был лишь смутным холодком в животе, оформился в нечто конкретное, обретшее имя и очертания. Ева подошла к книжной полке, где среди учебников по молекулярной биологии и генетике — толстых томов с цветными схемами и мелким шрифтом — стояли несколько книг по астрофизике и атмосферным явлениям. Это было наследие недолгого, но яркого романа с аспирантом-физиком, который пытался объяснить ей устройство Вселенной, пока она объясняла ему устройство клетки. Роман закончился, книги остались, и она не раз думала, не отдать ли их в библиотеку, но какая-то интуиция удерживала ее. Теперь эта интуиция казалась пророческой. Она достала «Физику атмосферы» — тяжелый том в синем переплете — и начала судорожно листать страницы, ища главы о радиационных поясах, солнечном ветре, электромагнитных бурях. Сухие научные

строки, формулы, графики — все это было не то. Ничего не объясняло происходящего за окном. Мощная солнечная вспышка была бы предсказана, о ней бы трубили все астрономы мира за несколько дней, если не недель. К тому же, такая, чтобы мгновенно убить всю электронику, но пощадить биологические объекты... это лежало за гранью ее понимания, за гранью всего, что она изучала. Это была аномалия, выбивающаяся из всех известных законов физики, как белая ворона в стае черных.

Снизу, из подъезда, слышались глухие удары и гул голосов — тот особый гул, который издает человеческое собрание, запертое в бетонной коробке лестничной клетки. Хлопнула дверь квартиры этажом ниже, прямо под ней, и Ева вздрогнула от того, насколько громким оказался этот звук. Ева тихо, на цыпочках, подошла к входной двери и посмотрела в глазок. Лестничная площадка была пуста, но она слышала, как на лестнице, несколькими пролетами ниже, переговариваются люди. Голоса были взволнованные, но не панические, с теми особыми интонациями, когда люди еще пытаются сохранять лицо и рассуждать здраво, но в глубине уже клокочет ужас. Сосед из двадцать пятой, кажется, бухгалтер лет пятидесяти, которого она встречала пару раз у лифта, громко объяснял кому-то, что, скорее всего, это какая-то новая кибератака, глушилки сигнала, что-то такое, что показывали в новостях на прошлой неделе. Его голос звучал уве-

ренно, но в нем слышались истеричные нотки, выдававшие его с головой — так говорят люди, которые пытаются убедить в первую очередь самих себя. Кто-то предложил спуститься в подвал и проверить щитки. Идея была здравая и одновременно бессмысленная — какие щитки, когда машины стоят посреди улицы? Но людям нужно было действие. Ева не открыла дверь. Какая-то глубинная часть ее сознания, биологическая, инстинктивная, та, что досталась от далеких предков, прятавшихся в пещерах от саблезубых тигров, кричала: «Оставайся в норе. Не высывайся. Ты не знаешь, что это, а значит, любое действие может быть смертельным». И она подчинилась этому голосу.

Она вернулась в комнату и снова взялась за дневник. Писать теперь стало легче, ручка бежала по бумаге быстрее, оставляя неровные строчки, в которых буквы наезжали друг на друга, как вагоны поезда, сошедшего с рельс. «Новости по радио обрывками. Говорят о вспышке излучения в атмосфере. Все глобально. Это не только наш город. Соседи на площадке обсуждают кибератаку, хотят идти в подвал. Я не пойду. Какая кибератака вырубит машины на ходу? Это что-то физическое. Что-то, что ударило по всей планете разом. Или почти по всей. Как ЭМИ, но не убивающее людей. Пока». Это «пока» она подчеркнула дважды, сама не заметив этого. Пока люди живы. Пока не проявились отложенные эффекты. Пока радиация не начала свою невидимую работу.

Слишком много этих «пока», и каждое из них было маленькой гирькой, повисающей на душе.

За окном картина хаоса становилась все более отчетливой, проступая, как фотография в проявителе. Люди уже не просто бродили растерянно между машин. Они начали действовать — и эти действия были продиктованы той самой частью человеческой природы, которая проявляется, когда спадают оковы цивилизации. Кто-то пытался завести свои автомобили, бессмысленно поворачивая ключ в замке зажигания, снова и снова, словно надеясь, что в какой-то из попыток двигатель сжалится и оживет. Один, на старых «Жигулях» цвета выцветшего беж, даже открыл капот и беспомощно смотрел на мертвый двигатель, на этот лабиринт металлических деталей, которые еще вчера работали как часы. На углу, у аптеки, начал собираться народ — сначала двое, потом пятеро, потом уже целая толпа. Ева видела, как несколько человек, энергично жестикулируя, что-то обсуждают, причем жесты их становились все более резкими, рубящими. Потом один из них, крупный мужчина в спортивной куртке с капюшоном, подошел к дверям аптеки и начал их дергать — сначала за ручку, потом плечом, оценивая прочность преграды. Заперто. Но он не ушел. Вместо этого он наклонился, поднял с тротуара что-то тяжелое — кажется, кусок бордюрного камня, вывороченный, должно быть, во время прошлогодних дорожных работ, — и начал бить по

стеклу витрины. Глухие, ритмичные удары разносились по опустевшей улице, отдаваясь эхом от стен противоположных домов. Стекло задрожало, пошло трещинами, но не сдавалось. Тогда к нему присоединился второй, с монтировкой, непонятно откуда взявшейся. Ева отшатнулась от окна. Это началось. Аптека стала первой целью. Не банк, не ювелирный магазин, не супермаркет с электроникой — аптека. В людях говорил первобытный страх и инстинкт самосохранения, и он требовал не денег, не золота, а лекарств, бинтов, спирта — всего того, что может понадобиться, когда привычный мир рушится, а больницы перестают существовать как функционирующая система.

Она отошла вглубь комнаты, стараясь держаться подальше от окон, от этого прямоугольного куска реальности, который теперь казался не просто окном, а порталом в хаос. Сердце колотилось где-то в висках, пульс был частым и поверхностным. Она снова и снова прокручивала в голове услышанную фразу: «вспышка неизвестного излучения». Что это может быть? Если бы это была гамма-вспышка от сверхновой или что-то подобное, они все уже были бы мертвы, облучены чудовищной дозой радиации, их ДНК превратилась бы в разорванные цепочки, клетки перестали бы делиться. Она не чувствовала тошноты, слабости — тех первых признаков лучевой болезни, которые описывались в учебниках. Если бы это была солнечная сверхвспышка...

Сценарий «События Кэррингтона» на новый лад, только в сотни раз мощнее. Но даже тогда у них были бы часы, может, сутки предупреждения. Солнечные обсерватории по всему миру забили бы тревогу. Это же пришло из ниоткуда, без предвестников, как удар молнии с ясного неба. Именно эта внезапность пугала больше всего — вселенная, казавшаяся предсказуемой и познаваемой, показала зубы, и зубы эти были остры как бритва.

Ева сделала над собой усилие и села за письменный стол. «Думай как ученый, — приказала она себе, сжимая ручку так, что побелели костяшки. — Анализируй факты. Отбрось эмоции. Ты биолог, ты умеешь наблюдать и систематизировать». Факт первый: вся незащищенная электроника вышла из строя одномоментно, в одну и ту же секунду, судя по замершим на ходу автомобилям. Факт второй: радиосвязь на некоторых частотах еще возможна, но крайне нестабильна, что говорит о сильных и неравномерных помехах в ионосфере. Факт третий: биологические объекты, включая ее саму, не пострадали — по крайней мере, без видимых немедленных эффектов; сердце бьется, легкие дышат, мозг функционирует. Факт четвертый: источник, по официальной информации — если можно считать официальной ту обрывочную передачу, — находится в верхних слоях атмосферы. Факт пятый, вытекающий из всего предыдущего: излучением был поражен как минимум целый город, а скорее всего — конти-

нент или планета целиком. Она записала все это в дневник, обведя в неровную рамочку, как любила делать при подготовке к экзаменам — этот ритуал структурирования информации всегда помогал ей собраться. Это придавало иллюзию контроля, ощущение, что она все еще студентка, решающая сложную задачу, а не испуганная девушка в обесточенной квартире посреди умирающего мегаполиса.

Потом она занялась водой. Эта мысль пришла из какого-то подсознания, из прочитанных когда-то статей по выживанию, которые она пролистывала со снисходительной усмешкой, думая, что ей это никогда не пригодится. Вода. Самое важное. Без еды человек может прожить неделями, без воды — считанные дни, а в условиях стресса — и того меньше. Ева прошла на кухню, открыла кран — вода еще текла, но напор был слабым, каким-то старческим, неуверенным. Насосы, качающие воду на верхние этажи, скорее всего, встали, и остатков давления в системе хватит ненадолго, может быть, на час, а может, и на несколько минут. Она принялась лихорадочно искать емкости, выдвигая ящики, распахивая дверцы шкафов. Большая кастрюля для супа, старая, эмалированная, с отбитым краем. Стеклянная банка из-под солений, которую она не выбросила по принципу «когда-нибудь пригодится». Пластиковые бутылки из-под воды — их было всего три штуки, полуторалитровые, с мятой этикеткой. Она наполнила все, что попало под руку, стараясь

не расплескать ни капли, ловя каждую струйку как величайшую драгоценность. Вода была холодной и чистой, и сам ее вид и звук текущей струи на несколько секунд подарил ей чувство нормальности, обманчивой и хрупкой. Мир, где из крана течет вода, еще не катился в тартарары. Но когда напор иссяк окончательно, превратившись в тонкую ниточку, которая задрожала и оборвалась, а затем и в редкие капли, падающие с металлическим звуком в пустую раковину, это чувство ушло, уступив место холодной, расчетливой трезвости.

Ева закрутила кран и оглядела свое скромное хозяйство — четыре кастрюли, три бутылки, банка, еще пара пластиковых контейнеров. Этого хватит на пару дней, может, на три, если экономить. Запасов еды, не требующей приготовления, было немного — она всегда питалась либо в университетской столовой, либо заказывала доставку. Пачка гречки, начатая упаковка риса, макароны в прозрачном пакете, сахар, чай в жестяной коробке с выцветшим рисунком. В холодильнике — молоко, которое скиснет через день без охлаждения, яйца, сыр, начавший уже заветриваться, масло в фольге. Об этом следовало подумать позже. Сейчас главным ресурсом была информация, и она это понимала отчетливо. Информация — это власть, это возможность принимать решения на основе фактов, а не догадок. Она снова взялась за приемник, но эфир был по-прежнему мертв, как космическое

пространство за пределами атмосферы. Лишь изредка в FM-диапазоне прорывались какие-то обрывки, но на иностранных языках — вроде бы немецком, вроде бы французском — или настолько слабые, что невозможно было разобрать слов, только далекий, призрачный шепот, утопающий в треске.

В подъезде тем временем становилось все более шумно. Слышались тяжелые шаги по лестнице, хлопанье дверей на разных этажах, детский плач — тонкий, пронзительный, разрезающий тишину как скальпель. Кто-то с кем-то громко спорил этажом выше, и Ева невольно прислушалась. Она разобрала слова «надо уходить» и «за городом безопаснее». Она поджала губы, чувствуя, как внутри поднимается волна скептического, почти циничного несогласия. Уходить? Куда? Пешком, по забитым мертвыми машинами трассам, которые сейчас наверняка превратились в гигантские парковки под открытым небом? Без связи, без понимания масштаба катастрофы, без уверенности, что «за городом» лучше? Она считала это безумием, паникой, толкающей людей на необдуманные поступки. Ее убежище, ее маленькая квартира с плотно закрытой дверью и запертыми замками, сейчас казалась самым безопасным местом в мире — островком стабильности в океане хаоса. Пока что. Нужно было лишь переждать. Переждать первые, самые опасные часы, когда люди действуют на инстинктах.

Она снова выглянула в окно — осторожно, краем глаза. Картина изменилась, и изменения эти были пугающе стремительными. Аптека была разграблена, темный провал витрины зиял, как выбитый зуб в челюсти здания. Вокруг валялись обломки кирпича, какие-то коробки, россыпь таблеток, белые и розовые пятнышки на сером асфальте. Людей на улице стало больше, они сбивались в группы, что-то оживленно обсуждали, и язык их тел — резкие жесты, напряженные плечи — говорил о растущей тревоге. Несколько человек целенаправленно шли по проезжей части, неся в руках сумки и рюкзаки, набитые до отказа — видимо, те, кто решил добираться до дома или до родственников пешком, несмотря ни на что. Одна женщина толкала перед собой детскую коляску, и этот обыденный жест посреди творящегося абсурда показался Еве самым трагичным, самым пронзительным свидетельством крушения. Мир рушился, а люди все еще пытались следовать своим привычным маршрутам, цеплялись за обломки рутины как утопающие за соломинку. Ребенок в коляске спал или просто лежал тихо, и Ева молилась про себя, чтобы он не понимал, что происходит, чтобы его сознание было защищено пеленой младенчества.

Ближе к полудню тишина стала не такой абсолютной, но это не принесло облегчения. Город наполнился новыми звуками — звуками человеческой активности, лишенной электрического усиления. Крики, стук молотков, грохот падаю-

щих предметов. Где-то далеко зазвонил ручной колокол — возможно, в какой-то маленькой церквушке, спрятанной во дворах, и этот звук, старинный и торжественный, плыл над замершим городом как напоминание о вечности. Один раз до слуха донесся резкий, хлесткий звук, похожий на выстрел — сухой, лающий, ни с чем не сравнимый. Ева вздрогнула и отошла от окна в дальний угол комнаты, в самый темный угол, где стояло старое кресло. Она упала в него, сжавшись в комок. Страх, который до этого был лишь эмоцией, начал парализовать тело, проникать в мышцы, делать их ватными и непослушными. Она сжалась в кресле, подтянув колени к подбородку и укутавшись в плед, старый шерстяной плед, пахнувший пылью и детством, привезенный когда-то из родительского дома. Этот запах немного успокаивал, возвращал в те времена, когда мир был большим и безопасным, а все проблемы решались взрослыми.

Она попыталась думать о том, что сейчас делает ее семья — мать, отец, младший брат, который, скорее всего, как раз собирался в школу, когда все случилось. Родители жили в маленьком поселке в трехстах километрах от мегаполиса, в доме, который построил еще дед. У них был свой дом с печным отоплением, колодец во дворе, погреб с соленьями, дровяной сарай. Они, возможно, даже не сразу заметили катастрофу, если только у них не отключился свет. Там, в провинции, жизнь была куда более автономной, менее зависи-

мой от электричества и цифровых сетей. Эта мысль принесла горькое утешение — горькое, потому что она не могла с ними связаться, не могла узнать, все ли в порядке, не могла услышать родной голос матери. Она не могла посмотреть на экран телефона и увидеть фотографию улыбающегося отца. Но сама идея, что они в более выгодном положении, что их старый деревянный дом с печкой и колодцем сейчас — крепость, а не ловушка, помогала не впасть в отчаяние, удерживала на грани между паникой и холодным рассудком.

День клонился к вечеру, и это было заметно по тому, как менялся свет в квартире — из яркого, почти белого он становился золотистым, потом янтарным, потом серым. Свет в квартире начал меркнуть, тени удлинялись, ползли по стенам как живые существа. Ева никогда не задумывалась, насколько ее жизнь зависит от искусственного освещения, от простого щелчка выключателя, который она совершала десятки раз в день не задумываясь. С наступлением сумерек комната наполнилась густыми тенями, углы утонули во мраке, привычная мебель приобрела зловещие очертания. Она нашла свечи — ароматическую, с запахом ванили, которую ей подарила подруга на прошлый Новый год и которую она берегла для какого-то особого случая, и обычный хозяйственный огарок, стеариновый столбик на блюдце, переживший, кажется, еще прошлые отключения света. Зажгла их, чиркая зажигалкой — та, к счастью, работала, — и малень-

кий, колеблющийся огонек стал ее личным солнцем, центром ее вселенной. В его неровном свете все предметы приобрели причудливые, тревожные очертания, тени плясали на стенах как призраки. Тишина в подъезде стала гнетущей — соседи, видимо, разошлись по квартирам и затаились, как и она, каждый в своей бетонной норе, каждый со своим страхом.

Ева открыла дневник на новой странице. Писать в полумраке было неудобно, чернила иногда расплывались, когда она слишком сильно нажимала на ручку, и строчки плыли перед глазами, но она продолжала, словно ведение этого дневника было единственной нитью, связывающей ее с рассудком, с той версией себя, которая была студенткой-биологом, а не испуганным зверьком. «Вечер. Темнеет. Поставила свечи. Из крана воды больше нет. Хорошо, что успела набрать. Есть хочется, но аппетита нет. Съела яблоко, и оно казалось безвкусным, как бумага. В подъезде тихо, только слышно, как где-то плачет ребенок. На улице периодически крики. Один раз был звук, похожий на выстрел. Я не выходила из квартиры. Дверь заперта на все замки. Я не знаю, что делать завтра. Я не знаю, есть ли завтра в том смысле, в каком мы его знали. Вспышка излучения. Что ты такое?»

Она перечитала написанное, и ей стало страшно от сухости слога, от этого почти протокольного тона. Она описывала

крушение цивилизации тоном протокола лабораторной работы — «объект наблюдения», «факт первый», «факт второй». Но другого языка у нее не было. Она могла лишь наблюдать и фиксировать, как привыкла это делать с биологическими образцами, с мышами в виварии, с культурами клеток под микроскопом. Только теперь образцом был весь мир — бесконечно сложный, многоклеточный, раненый, — а она была одновременно и исследователем, и подопытным кроликом, и лаборантом, и препаратом на стекле. Эта двойственность ее положения осознавалась с пугающей ясностью.

Ночью она почти не спала. Лежала на кровати, не раздеваясь, в том же флисовом халате, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому скрипу половиц в старом доме. Город погрузился в первозданную тьму, которой она не видела никогда в жизни — ни в походах, ни в экспедициях, нигде. Ни одного огонька, ни одного светящегося окна, ни неоновой вывески, ни фар проезжающих машин, ни даже далекого зари над центром города. Тьма была абсолютной, как в пещере, как в закрытой комнате без окон, как в глубине океана. И в этой тьме звуки стали ярче и страшнее, они обрели объем и плоть, они стали почти осязаемыми. Где-то вдалеке, на грани слышимости, раздавался низкий, протяжный гул, похожий на стон раненого зверя — такой глубокий, что его не столько слышали уши, сколько чувствовало тело. Может быть, это горел какой-то дом, оставленный без присмотра, или ветер

гудел в антеннах на крыше, или стонали от напряжения конструкции моста в нескольких кварталах отсюда. Ева не знала, и это незнание изматывало больше всего, высасывало силы, как насос. Она лежала и смотрела в черный потолок, который был неотличим от черноты закрытых глаз, прокручивая в голове события дня снова и снова, как заевшую пластинку. День 0. Точка отсчета новой эпохи. Она сама не заметила, как назвала его, как присвоила ему номер и тем самым вписала в историю. Ее дневник, сам факт его существования, теперь казался не просто развлечением от скуки, а чем-то вроде спасательного круга, брошенного в бушующее море. Пока она пишет, пока она пытается осмыслить происходящее, облечь хаос в слова, она не животное, движимое инстинктами, а человек, мыслящее существо, *Homo sapiens*. Завтра нужно будет подумать о еде, о плане действий, о выживании — холодном, расчетливом выживании, которое не прощает ошибок. Но сегодня, в эти первые, самые страшные часы, у нее была только тишина в эфире, абсолютная тьма за окном и слабый, дрожащий огонек свечи, который она боялась задуть даже на секунду.

Глава 2: День 3. Эффект свидетеля

Третий день начался не с тишины, к которой Ева почти успела привыкнуть за сорок восемь часов изоляции, а с крика. Этот звук не просто разбудил её — он пронзил предрасветный сумрак квартиры, словно осколок стекла, вонзившийся в самую сердцевину сна. Крик был резким, захлёбывающимся, он вибрировал на такой высокой, почти ультразвуковой ноте, что Ева физически ощутила его кожей — мурашки побежали по рукам, а дыхание перехватило раньше, чем сознание успело идентифицировать источник. Она подскочила на кровати, запутавшись в сбившейся простыне, и первые несколько секунд судорожно озиралась, не понимая, где находится. Память возвращалась урывками: вот её комната, вот книжный шкаф, вот окно, за которым уже трое суток царит неестественная, больная тишина. Свеча, которую она зажгла накануне вечером, давно догорела, оставив после себя лишь запах горелого воска — тяжёлый, сладковатый, смешанный с горчинкой пережжённого фитиля. Тонкая, почти невесомая струйка чёрного дыма застыла в неподвижном воздухе вертикальным столбиком, как миниатюрный смерч, замерший во времени. Воздух в квартире вообще стал густым, спёртым, многослойным — за три дня без электричества и вентиляции он пропитался запахами старой

пыли, книжного клея, её собственного страха и того особого химического оттенка, который появляется в помещениях, где долго горит дешёвый парафин.

Крик повторился, на этот раз ближе, раскатистее, и Ева наконец узнала голос. Это кричала женщина из четырнадцатой квартиры — она была матерью двоих детей, и раньше они часто пересекались в лифте и у почтовых ящиков. Ева помнила её совершенно отчётливо: невысокая, полноватая, с неизменным пучком русых волос на затылке и усталой, но неизменно вежливой улыбкой. Они обменивались дежурными фразами о погоде, о задержках зарплаты, о том, как тяжело тащить сумки с продуктами на двенадцатый этаж, когда лифт в очередной раз сломался. Эти разговоры были поверхностными, ритуальными, лишёнными какой бы то ни было глубины, но сейчас, слушая её крик, Ева с болезненной ясностью осознала, насколько ценными были те микроскопические моменты человеческого контакта. Теперь этот голос не имел ничего общего с прежней женщиной. Ничего человеческого в нём не осталось — только чистый, незамутнённый, архетипический ужас, какой издаёт раненое животное, почуявшее неотвратимое приближение хищника. Еве доводилось слышать подобные звуки лишь однажды, на практике в виварии, когда подопытная крыса, загнанная в угол более крупной особью, издала тонкий, вибрирующий писк, от которого у всех студентов волосы встали дыбом. Тогда это

было страшно. Сейчас — невыносимо.

Она скатилась с кровати на пол, даже не успев осознать, что делает, и на четвереньках поползла к окну. За трое суток, прошедших с момента События, Ева выработала совершенно новую механику движений — низко, бесшумно, ни на сантиметр не поднимаясь выше линии подоконника. Это стало инстинктом, таким же базовым, как дыхание. Она поняла это ещё в первый день, когда силуэт человека, прошедшего в полный рост мимо окна на пятом этаже соседнего дома, привлёк внимание тех, кто уже перестал быть людьми. Тогда это знание впечаталось в подкорку: видимость равна уязвимости. Хочешь жить — стань частью интерьера, тенью, пылью на стекле. Ева добралась до подоконника, прижалась спиной к холодной стене под ним и, медленно-медленно, едва дыша, приподняла голову ровно настолько, чтобы видеть улицу одним глазом.

Улица изменилась до неузнаваемости, и это было даже страшнее крика. За трое суток городской пейзаж, который она знала с детства, превратился в декорацию к постапокалиптическому фильму, и самое жуткое заключалось в том, что это была не фантазия, а реальность — вот она, в двадцати метрах под ней, осязаемая, материальная, пахнущая гарью и разложением. Остовы машин, некогда блестящих и дорогих, покрылись тонким, но равномерным слоем пепла —

вчера, ближе к вечеру, на соседней улице что-то горело, и ветер принёс сюда чёрные хлопья, которые оседали на кузовах, словно траурная вуаль. Пепла было столько, что он изменил цвет улицы — серый асфальт стал чёрным, и лишь кое-где сквозь этот мрачный покров проступали белёсые полосы дорожной разметки. Повсюду валялся мусор: обрывки одежды, которые ветер таскал по мостовой, как перекасти-поле, разбитое стекло, хрустевшее под ногами редких прохожих с тем самым отвратительным скрежещущим звуком, от которого сводило зубы, пустые пластиковые бутылки, бумажные пакеты, одинокий детский ботинок — маленький, красный, с нашивкой в виде мультяшного динозавра. Ева заставила себя не думать о том, где сейчас хозяин этого ботинка.

Но не пепел, не мусор, не разбитые витрины были по-настоящему страшны. Страшно было то, как двигались некоторые люди. Ева прищурилась, вглядываясь в утренние сумерки. Те, кого она про себя уже начала называть «обычными выжившими» — а их становилось всё меньше, — передвигались короткими перебежками, пригибаясь, озираясь, стараясь держаться теней. Их выдавал страх, и этот страх был нормальным, почти успокаивающим. А вот другие... Другие двигались иначе. Их походка была дерганой, ломаной, асинхронной, словно конечности управлялись неумелым кукловодом, который только учился своему ремеслу. Они не шли — они перетекали с места на место, спотыкаясь, замирая,

дёргаясь, совершая какие-то мелкие, бессмысленные движения руками и головой, похожие на тики или конвульсии. Один такой человек, мужчина в некогда дорогом, а теперь грязном и изорванном пальто из верблюжьей шерсти, стоял посреди перекрёстка и монотонно, с равными интервалами, бился лбом о кирпичную стену аптеки. Раз, другой, третий. Звук удара был глухим, но отчётливым, и Ева слышала его даже через закрытое окно. На серой кладке уже расплывалось тёмное пятно, которое с каждым ударом становилось всё больше и насыщеннее. Мужчина не останавливался. Казалось, он вообще не чувствует боли. Ева зажмурилась, молясь про себя — кому? она не знала, — чтобы это оказалось просто игрой её воображения, галлюцинацией, порождённой стрессом и хроническим недосыпом.

Она отползла от окна тем же способом — на четвереньках, спиной вперёд, — добралась до стола и схватила дневник. Её дневник, потёртый блокнот в кожаном переплёте, купленный когда-то для конспектов по молекулярной биологии, за эти дни превратился в нечто совершенно иное. Теперь это был якорь, единственная ниточка, связывавшая её с рассудком. Пальцы дрожали так сильно, что ручка выписывала немыслимые зигзаги, строчки прыгали вверх-вниз, но Ева заставляла себя писать. Это стало ритуалом, сравнимым по значимости с проверкой дверей и запасов воды. Пока она пишет, она мыслит. Пока она мыслит — она человек.

«День 3. Сон был обрывочный, рваный, без сновидений — скорее провалы в темноту, чем настоящий отдых. Разбудил крик из 14-й. На улице — новые формы поведения. Сосед из 18-й, мужчина лет сорока пяти, имя не помню, кажется, работал в банке, полностью утратил рассудок. Стоит у стены аптеки и...» — она запнулась, ручка зависла над бумагой. Ева попыталась подобрать научный, клинический термин для этого кошмара, но ничего подходящего в голову не приходило. Язык науки, на котором она привыкла говорить последние четыре года, оказался беспомощным. «...и совершает ритмичные самоповреждающие действия, — написала она наконец, и собственный почерк показался ей чужим, слишком каллиграфическим для такой ситуации. — Не реагирует на оклики. Рядом проходят другие — их трое или четверо, — но они его не видят. Или, что вероятнее, делают вид, что не видят. Я тоже делаю вид. Эффект свидетеля в действии. Классическое размывание ответственности: когда в толпе каждый надеется, что поможет кто-то другой. Парадокс в том, что толпы больше нет. Есть лишь атомизированные единицы, и каждая из них надеется на мифического другого. А помогать теперь некому».

Она отложила ручку, потянулась, разминая затёкшие плечи, и потёрла воспалённые, покрасневшие от недосыпа и постоянного напряжения глаза. Веки были сухими, шершавы-

ми, как наждачная бумага. «Событие» — так Ева окрестила катастрофу в своих записях, и это безликое, стерильное, почти бюрократическое название помогало соблюдать дистанцию. Она сознательно выбрала его в первый же день, когда поняла, что слова «катастрофа», «апокалипсис» или «конец света» выбивают её из колеи, запускают каскад панических мыслей, парализующих волю. Событие — это просто факт. Факт можно изучать. Факт можно анализировать. Эмоции же — это яд, который затуманивает рассудок и ведёт к ошибкам. А цена ошибки здесь и сейчас — смерть, возможно, куда более страшная, чем просто смерть.

Событие, как Ева поняла далеко не сразу, не убило всех разом, подобно нейтронной бомбе, как ей казалось в первые часы после того, как погас свет и замолчали телефоны. Оно оказалось куда более изощрённым и коварным. Оно меняло людей. Не убивало мгновенно, а переписывало их изнутри, словно некий вирус, действующий на нейробиологическом уровне. Она заметила это ещё вчера, когда наблюдала за парой, поселившейся в остановившемся фургоне-рефрижераторе с логотипом молочной компании на боку, который замер прямо напротив её подъезда, перегородив проезжую часть. Мужчина и женщина, судя по обручальным кольцам и той особой, едва уловимой синхронности движений, которая бывает только у давно живущих вместе людей, — муж и жена. Весь день они просидели внутри, не показываясь,

и Ева почти забыла о них, увлѣкшись составлением карты крыш. А к вечеру, когда солнце уже цеплялось за край горизонта, окрашивая небо в болезненно-оранжевые тона, женщина вышла. Она не выпрыгнула, не выбежала — она именно вышла, ровно и спокойно, и направилась к подъезду их дома. Походка её была плавной, даже грациозной, но что-то в этой плавности заставило Еву инстинктивно пригнуться. Она всмотрелась в лицо женщины — и пожалела об этом. Пустое выражение, словно кто-то стёр с холста все краски, оставив лишь грунтовку. Отсутствующий взгляд, направленный не вовне, а куда-то глубоко внутрь, в какую-то бездонную внутреннюю пустоту. И лёгкая, почти незаметная улыбка — даже не улыбка, а так, тень улыбки, которая тронула уголки губ и застыла. Мужчина выбежал следом, взъерошенный, испуганный, что-то крикнул — Ева не разобрала слов, но интонация была умоляющей, — попытался взять её за руку, развернуть к себе. Женщина обернулась. Движение было плавным, текучим, и в следующую секунду Ева увидела, как та оскалилась — не закричала, не зарычала, а именно оскалилась, обнажив зубы — и укусила мужчину за предплечье. Не как человек в припадке ярости — с криком, с руганью, с хаотичными ударами. А как животное — молча, цепко, глубоко, с какой-то жуткой, почти профессиональной точностью. Мужчина закричал — этот крик Ева слышала отчётливо, — вырвал руку, оставив на запястье женщины клочья собственной кожи, и побежал прочь, спотыкаясь и падая.

А женщина осталась стоять посреди двора, и кровь, тёмная, почти чёрная в вечерних сумерках, капала с её подбородка на асфальт, образуя маленькие кратеры в пепле.

Тогда Ева впервые записала в дневнике слово «Одержимые». Она долго сидела над этой записью, крутила ручку в пальцах, зачёркивала и писала заново. Термин был неточным, псевдонаучным, отдающим средневековой демонологией и фильмами ужасов категории «Б», но он удивительно точно описывал то, что она видела. Будто в человека вселялось нечто инородное, чужеродное, что выжигало изнутри личность — память, эмоции, привязанности, всё, что составляет человеческое «я», — и оставляло только пустую биологическую оболочку, движимую примитивными, хаотичными, непредсказуемыми импульсами. Оболочку, которая сохраняла базовые моторные функции, но утрачивала всё, что делает человека человеком. Одержимые. Да, это слово было неточным, но Ева не могла подобрать лучшего. Иногда точность в науке уступает место точности в ощущениях.

Теперь, на третий день, Одержимых стало заметно больше. Ева насчитала из окна как минимум четверых, и это только в пределах прямой видимости — двора, перекрёстка, части прилегающей улицы. Если экстраполировать эту плотность на весь город... Она оборвала эту мысль. Не надо экстраполировать. Это путь к безумию. Самое поразитель-

тельное, что Одержимые не нападали друг на друга. Они словно не замечали никого вокруг — ни людей, ни других Одержимых, — погружённые в свои бессмысленные, циклические ритуалы. Один раскачивался из стороны в сторону, стоя на месте, и это монотонное движение напоминало Еве поведение животных в тесных клетках зоопарка — так называемую стереотипию, признак глубокого психического расстройства. Другой сидел на корточках возле перевёрнутого мусорного бака и перебирал мусор с методичностью археолога, издавая гортанные, булькающие звуки, которые не складывались в слова. Третий просто стоял, замерев, как статуя, и лишь изредка его голова дёргалась под неестественным углом. Четвёртый — тот самый, у стены аптеки, — продолжал свой монотонный ритуал, и тёмное пятно на кирпичах стало уже размером с обеденную тарелку.

Эта избирательность События пугала Еву больше всего. Она не давала ей покоя, свербила где-то на задворках сознания, как нерешённая научная задача. Почему одни сходили с ума — или, точнее, подвергались этой жуткой трансформации, — а другие, как она, оставались в здравом рассудке? Каков был механизм? Доза облучения? Если так, то почему она, находившаяся в эпицентре, не пострадала? Генетическая предрасположенность? Мутация в каком-то конкретном гене, отвечающем за синтез нейромедиаторов? Она перебирала в уме всё, что знала о нейробиологии, о при-

онных заболеваниях, о вирусах, поражающих центральную нервную систему. Бешенство? Нет, инкубационный период слишком долгий, и клиническая картина иная. Психологическая устойчивость? Тоже маловероятно — среди Одержимых она видела людей разного возраста, пола, социального статуса, и вряд ли все они обладали одинаково слабой психикой. У неё не было данных, чтобы ответить на этот вопрос. У неё не было даже гипотезы, которую можно было бы проверить. И это чувство — чувство учёного, лишённого инструментов познания, — было мучительным.

Крик в подъезде стих так же внезапно, как и начался, оборвавшись на полуноте, словно лопнувшая струна. На смену ему пришла тишина — тяжелая, гнетущая, многослойная, состоящая из сотен микроскопических звуков, которые раньше заглушал городской шум, а теперь они вылезли наружу, как подземные воды. Где-то капала вода, где-то поскрипывали остывающие конструкции дома, а главное — в этой тишине отчётливо, пугающе отчётливо раздавались шаги на лестнице. Кто-то тяжело, неровно поднимался по ступеням. Шаги были шаркающие, аритмичные, с длинными, неестественными паузами между шагами, словно идущий забывал, куда и зачем идёт, потом вспоминал и делал следующий шаг. Ева замерла, превратившись в слух. За трое суток она научилась различать звуки с почти сомнологической точностью. Растерянные и быстрые шаги, сбивчивый ритм — это те, кто

ещё не потерял надежду, кто ищет, бежит, спасается. Медленные, тяжёлые, с ровными паузами — это те, у кого кончаются силы, кто бредёт на последнем reserves энергии, на грани коллапса. А эти — шаркающие, с неравномерным, ломаным ритмом, с этим характерным звуком, когда нога не поднимается над ступенькой, а волочится по ней, — принадлежали кому-то из Одержимых. Она была в этом почти уверена. Более того, она готова была поставить на это свою жизнь — что, собственно, и происходило.

Шаги приближались. Вот они прозвучали на лестничной клетке этажом ниже. Затем — на её площадке. Ева бесшумно, как призрак, скользнула в прихожую — это движение она отработала уже до автоматизма, научившись наступать на те половицы, которые не скрипели, — и прильнула к дверному глазку. В искажающей, слегка мутной оптике глазка коридор выглядел как сцена из сюрреалистичного фильма, снятого оператором-экспрессионистом. Там стоял человек. Ева узнала его, и от этого узнавания стало только страшнее. Это был Алексей, сосед из двадцать третьей квартиры, инженер-программист лет тридцати пяти, с которым она время от времени болтала о погоде, о переboях с интернетом, о шумных соседях сверху — обычные ни к чему не обязывающие разговоры у почтовых ящиков. Сейчас он был неузнаваем. Его лицо обвисло, как будто все лицевые мышцы одновременно потеряли тонус, кожа сползла вниз, обнажив неестествен-

но белые дёсны. Из приоткрытого, безвольно отвисшего рта текла тонкая струйка вязкой, мутной слюны, свисавшая почти до подбородка. Одежда — та самая клетчатая рубашка, в которой он ходил всегда, — была грязной, разорванной на груди, словно он пытался разодрать её на себе. И самое жуткое — его глаза. Они были открыты, но взгляд... это был не взгляд. Это было отсутствие взгляда. Стекланные шарики, вставленные в глазницы старым таксидермистом. Он стоял, слегка покачиваясь, и смотрел — нет, не смотрел, а был направлен — прямо на её дверь.

Сердце Евы пропустило удар, а затем забилось с такой силой, что она испугалась, как бы этот стук не был слышен снаружи. Она перестала дышать, зажав рот рукой — не столько чтобы не закричать, сколько чтобы физически ощутить контроль над собственным телом. Может быть, он просто стоит и сейчас уйдёт? Может быть, это случайность, совпадение, и он не знает, что она здесь? Может быть, в его разрушенном сознании ещё теплится какой-то обрывок памяти, и он вспомнил, что она была его соседкой, и просто пришёл... зачем? Поздороваться? Эта мысль была абсурдной, но абсурд теперь стал частью реальности. В следующую секунду кулак Алексея с чудовищной, немыслимой силой обрушился на дверь. Глухой, мощный удар, от которого завибрировал косяк, сотряс прихожую. Ева отшатнулась, зажав рот ещё сильнее, до боли в челюсти, чтобы не закричать — потому

что крик сейчас означал бы смерть. Удар повторился. Потом ещё и ещё. Он бил молча, без единого звука — ни рычания, ни стопа, ни крика, — с методичностью парового молота, целясь кулаком в область замка. Деревянная обшивка двери жалобно закрипела. Ева с ужасом увидела, как на внутренней стороне дверного полотна появляется едва заметная трещина. Сосед-программист, который в обычной жизни, насколько она помнила, жаловался на боли в спине от сидячей работы и не мог поднять тяжелее ноутбука, ломился в дверь с силой, явно превосходящей нормальные человеческие возможности. Дверь была крепкая, металлическая, хозяин квартиры поставил её всего год назад, но замок был её слабым местом — стандартный, фабричный, не рассчитанный на такой напор. Ева видела, как начинают прогибаться петли, как крепёжные болты медленно, но неотвратимо вылезают из гнезд.

Инстинкты — те самые, глубинные, рептильные, которые дремали в ней двадцать с лишним лет цивилизованной жизни, — сработали быстрее рассудка. Она не думала, не анализировала, не взвешивала. Она действовала. Метнулась в комнату, уперлась плечом в тяжелый, до потолка, книжный шкаф из тёмного дуба, набитый книгами по биологии, химии, физике — тысячами страниц бесполезных теперь знаний. Сдвинуть эту махину с места в обычных условиях казалось немыслимым — шкаф весил, наверное, килограмм две-

сти, если не больше. Но адреналин сделал своё дело. Мышцы, о существовании которых она даже не подозревала, напряглись, по телу прокатилась волна жара, и шкаф медленно, с отвратительным скрежетом, от которого закладывало уши, пополз по ламинату, оставляя глубокие белые царапины. Ева толкала его, упираясь ногами в пол, чувствуя, как горят мышцы спины, как хрустят суставы. Шкаф проехал полметра, метр, полтора и встал поперёк дверного проема, ведущего из прихожей в комнату, загораживая вход. Это была первая линия обороны. Затем она схватила деревянный стул из кухни — лёгкий, хлипкий, — и, действуя на чистом автопилоте, подпёрла им дверную ручку входной двери. Баррикада была жалкой, почти символической, но психологически она давала хоть какую-то иллюзию контроля.

Удары тем временем стали чаще и хаотичнее. К первому кулаку присоединился второй, и в дверь забарабанили с обеих сторон. А затем, судя по звуку, Алексей начал биться о неё всем телом — раз за разом, с разбега, вкладывая в каждый удар всю массу. Слышался хруст. Сначала Ева не поняла, что это, мозг отказывался идентифицировать звук. А потом поняла. Это хрустели его собственные кости — пальцы, кисти, может быть, локти. Одержимый не чувствовал боли. Боль, этот фундаментальный эволюционный механизм самосохранения, у него отсутствовал напрочь. Это наблюдение было важным, Ева понимала это даже сейчас, сквозь пелену

ужаса, и краем сознания фиксировала: «Болевой порог отсутствует — зафиксировать в дневнике». Страх постепенно сменился каким-то отстранённым, ледяным оцепенением — психика включила защитный механизм диссоциации, отделяя наблюдателя от наблюдаемого. Ева сидела на полу, привалившись спиной к книжному шкафу, и смотрела на тряскую дверь. Каждый удар отдавался дрожью в её позвоночнике. Она физически ощущала, как вибрация проходит через дерево, через книги, через её тело, уходя в пол. Она чувствовала себя животным, загнанным в нору, на которую напал более крупный, более сильный, более безжалостный хищник. И в этом ощущении не было ничего героического или возвышенного — только чистый, концентрированный животный ужас и единственное, всепоглощающее желание стать как можно меньше, незаметнее, раствориться в темноте, исчезнуть.

Штурм продолжался, как ей показалось, целую вечность. На самом деле, судя по тому, как изменилось освещение — солнце за окном переместилось и теперь светило под другим углом, пробиваясь сквозь грязные, запылённые стёкла, — прошло около получаса. Тридцать минут непрерывного, монотонного, механического долбления в дверь. А затем всё стихло. Так же внезапно, как и началось. Удары прекратились, и в наступившей тишине Ева слышала удаляющееся шарканье — тот самый неровный, ломаный ритм спуска по

лестнице. Шаг, пауза, волочение, снова шаг. Она не двигалась. Она продолжала сидеть, прижавшись спиной к шкафу, и вслушивалась в тишину каждой клеточкой тела. Мышцы затекли так, что превратились в камень. Шея онемела, и при малейшей попытке повернуть голову простреливала острая боль. Но Ева боялась пошевелиться. Боялась издать хоть звук, чтобы не выдать своё присутствие, если вдруг этот кошмар решит вернуться. Она знала, что так бывает: хищник отходит, затаивается и ждёт, когда жертва, поверив в безопасность, выдаст себя. Только когда за окном начало смеркаться и тени в комнате удлинились, превратившись в чёрные лужи, она заставила себя встать. Ноги не слушались, колени подгибались. Ева доковыляла до окна, держась за стены. Соседа-программиста нигде не было видно. Двор был пуст, только ветер гонял по асфальту чёрные хлопья пепла и всё тот же красный детский ботинок.

Именно в этот момент, на грани дня и ночи, когда дневной свет уже утратил свою силу, а ночная тьма ещё не вступила в полные права, Ева окончательно осознала всю чудовищную бесполезность своих знаний. Это осознание пришло не как удар — скорее, как медленно поднимающийся уровень воды, который наконец достиг критической отметки. Она, студентка-биолог четвёртого курса, почти закончившая обучение, круглая отличница, гордость кафедры, знала о строении клетки — растительной, животной, бактериальной. Она зна-

ла цикл Кребса наизусть, могла с закрытыми глазами перечислить все стадии митоза и мейоза. Она разбиралась в метаболизме, в генетическом коде, в тонкостях работы рибосом и митохондрий. Она могла бы сдать экзамен по микробиологии в три часа ночи после бессонной ночи — и сдала бы на пятёрку. Но здесь и сейчас, в этом мире, который за трое суток изменился до неузнаваемости, все эти знания были грудой бесполезных, мёртвых фактов. Они ничего не весили. За них нельзя было купить еду, защиту или хотя бы один спокойный час. У неё не было микроскопа — даже простенького школьного, не говоря уже об электронном. У неё не было реактивов, не было петрифильмов, не было питательных сред. У неё не было даже простейшего скальпеля или хотя бы острого кухонного ножа достаточной длины, чтобы взять образец тканей Одержимого и попытаться понять, что с ним произошло на клеточном уровне. Её знания были заточены, откалиброваны, оптимизированы под мир, который только что исчез. Мир лабораторий с их стерильными боксами, ламинарными шкафами, центрифугами и спектрофотометрами. Мир интернет-баз данных, где можно было найти ответ на любой вопрос за пару кликов. Мир научных конференций, где спорили о тонкостях, не имеющих никакого значения за пределами академической среды. Теперь же она была выброшена в каменный век — нет, даже хуже, в каменный век, населённый монстрами. И главным её инструментом стало не знание, а нечто иное, чему не учили в универси-

тете. Тишина. Наблюдательность. Умение затаиться, слиться с обстановкой, стать невидимкой. Эффект свидетеля, который она проклинала в других, — та самая социальная инерция, которая заставляет прохожих отводить глаза, — стал её главным оружием. Быть свидетелем, а не участником. Видеть, оставаясь невидимой. Наблюдать, не вмешиваясь. Это было цинично, это было жестоко, но это была единственная стратегия, которая пока что сохраняла ей жизнь.

Ева зажгла новую свечу — у неё оставалось ещё три упаковки, надо было экономить, но сейчас ей требовался свет не только для зрения, но и для душевного равновесия, — и разложила на полу листы бумаги, скрепляя их скотчем в длинную полосу. Дневник — это для слов, для самоанализа, для сохранения рассудка. Но для выживания требовалось что-то более практичное, более прикладное. Она начала чертить карту. Вид из её окна, схема двора, прилегающие улицы, соседние крыши. Она жила на двенадцатом, последнем этаже, и это обстоятельство, которое раньше было просто приятным бонусом — красивый вид на город, ощущение высоты, отсутствие соседей сверху, топающих по потолку, — теперь становилось ключевым, жизненно важным фактором безопасности. Лестничные пролёты были смертельной ловушкой. Там темно, там тесно, там ограниченная видимость и куча слепых зон, и в любой момент из-за поворота может вывернуть Одержимый или, что, возможно, ещё опас-

нее, группа отчаявшихся мародёров. Но крыша... Крыша — это свобода. Ева часто выходила на пожарную лестницу покурить в те времена, когда ещё пыталась бросить эту дурацкую привычку, и знала топологию крыши как свои пять пальцев. Знала, что по чердаку, через незапертый люк, можно перебраться на крышу соседнего здания — старого доходного дома дореволюционной постройки. А оттуда, по узкому карнизу, который идёт вдоль фасада, — на крышу следующего, где располагается офисный центр. А с офисного центра, спустившись по внешней пожарной лестнице, — в следующий двор, где, кажется, есть небольшой продуктовый магазин. Она никогда не обращала на него особого внимания — обычный «Магазин у дома» с зелёной вывеской, — но сейчас этот магазин казался ей землёй обетованной.

Линия за линией, на бумаге возникал лабиринт города, увиденного с высоты птичьего полёта. Ева работала тщательно, скрупулёзно, с той дотошностью, которую обычно приберегала для лабораторных журналов. Она отмечала люки на крышах — одни заперты, другие открыты. Вентиляционные шахты, за которые можно спрятаться в случае опасности. Карнизы, по которым можно пройти — и те, по которым нельзя, потому что они обветшали. Она чертила не просто маршруты — она чертила пути к спасению. Рядом с каждым объектом ставила пометки своим мелким, убористым почерком: «Опасн. — замеч. активность утром. Обходить»,

«Магазин — возм. есть запасы. Требуется разведка», «Откр. чердак — укрытие на крайний случай. Проверить на наличие других выживших». Её почерк, обычно размашистый и несколько небрежный, стал мельче, чётче, собраннее. Движения обрели уверенность, которой она не чувствовала все эти три дня. Впервые с момента События она делала что-то, что давало пусть иллюзорную, но такую необходимую иллюзию контроля над ситуацией. Она больше не была пассивной жертвой, дрожащей в своей норе в ожидании развязки. Она становилась картографом руин, исследователем нового, страшного, но всё же познаваемого мира.

В перерывах между черчением, когда глаза уставали от напряжения и начинали слезиться, она возвращалась к окну и наблюдала. Это тоже стало частью её нового существования — методичное, почти научное наблюдение за изменившейся экосистемой. Она заметила, что Одержимые избегают прямых солнечных лучей — инстинктивно жмутся к теневой стороне улицы, прячутся под козырьками подъездов, в тени деревьев. Фотофобия? Возможно. Это была важная деталь: если они не выносят яркого света, то дневные вылазки могут быть относительно безопасными. Она заметила, что их активность подчиняется суточному ритму: возрастает в сумерках, достигает пика где-то в середине ночи и идёт на спад глубокой ночью, незадолго до рассвета. Это напоминало поведение ночных животных — ещё одна деталь в копил-

ку гипотез. Она видела, как группа выживших — четверо или пятеро, с самодельным оружием в руках, кусками арматуры и битами, — попыталась проштурмовать супермаркет на углу. Ева с замиранием сердца следила за их перемещениями, мысленно болея за них, надеясь, что у них получится. И видела, как из разбитых витрин, словно тараканы из щелей, на них высыпали Одержимые — бывшие продавцы и покупатели, которых Событие застало внутри. Они не издавали боевых кличей, не рычали, не кричали — они просто текли сплошной молчаливой волной. Группа отступила в панике, потеряв одного человека. Его крик — высокий, захлёбывающийся, полный невыразимой муки — ещё долго стоял в ушах Евы. Она заставила себя досмотреть до конца, хотя каждая клетка тела кричала: отвернись, не смотри, не запоминай. Она занесла и это в свой атлас, рядом с квадратом, обозначавшим супермаркет: «Супермаркет — засада. Не приближаться. Подтверждённая опасность».

Но больше всего её поразило другое наблюдение, сделанное на исходе третьего дня, когда солнце уже почти скрылось за горизонтом и город погрузился в синеватые сумерки. Она стояла у окна, машинально поглаживая корешок дневника, и смотрела на свой дом — на тёмные, слепые окна, в которых не горел свет уже третьи сутки. И вдруг в одном из них, на седьмом этаже, она заметила слабый, дрожащий огонёк. Свеча. Самая обыкновенная парафиновая свеча, точ-

но такая же, как у неё. Значит, там кто-то был. Кто-то живой. Кто-то разумный — потому что Одержимые, насколько она успела заметить, не пользовались огнём. Кто-то, кто, как и она, затаился в своей квартире и ждал. Она вглядывалась в этот крошечный, дрожащий на сквозняке огонёк с почти религиозным трепетом, с тем чувством, с каким моряк, потерпевший кораблекрушение, замечает на горизонте далёкий парус. Этот огонёк был доказательством — неопровержимым, материальным, видимым — того, что она не одна. Где-то там, внизу, в такой же тёмной и холодной квартире, сидел другой человек, и, возможно, прямо сейчас тоже смотрел на её свечу. Медленно, почти торжественно, Ева подняла руку с зажжённой спичкой и поднесла её к стеклу — раз, другой, третий. Спичка догорела, обожгла пальцы, но она не почувствовала боли. В ответ огонёк на седьмом этаже качнулся из стороны в сторону — один раз, второй, третий. Приветствие. Безмолвное, робкое, лишённое какой-либо конкретики, но при этом полное глубочайшего, экзистенциального значения. Ева не знала, кто это — мужчина, женщина, ребёнок, старик. Но в этот момент, через стекло, через холодный вечерний воздух, через руины умирающего города, они заключили безмолвный договор. Мы живы. Мы видим друг друга. Мы не одни.

Она отошла от окна, чувствуя, как в груди разливается странное, забытое за эти дни тепло, и вернулась к своей кар-

те. Теперь на ней появились не только маршруты, зоны опасности и потенциальные источники ресурсов. Она нанесла новую отметку, старательно обведя её в кружок, словно желая закрепить этот символ надежды: «Окно на 7-м этаже, квартира предположительно 42-я или 43-я. Выживший. Друг или союзник? Установить контакт». Это было рискованно, потенциально смертельно рискованно. Она не знала, кто там, что у него за душой, не сойдёт ли он с ума завтра и не превратится ли в одного из Одержимых. Но это была цель. А цель — это то, что отделяет выживание от существования, что даёт смысл каждому действию, что заставляет подниматься утром и что-то делать, а не просто лежать, глядя в потолок и ожидая неизбежного. Ева взяла дневник и вписала последнюю фразу за день, завершая запись с той же формальной аккуратностью, с какой подписывала лабораторные работы:

«Мои знания биологии бесполезны без инструментов. Это факт, и с ним нужно смириться. Но у меня есть другое: я умею видеть. Я умею ждать. Я умею наблюдать и анализировать. И теперь у меня есть карта — не просто схема местности, а план действий. Завтра я попробую выйти на крышу. Нужно разведать маршрут до магазина. Если удастся — установить контакт с седьмым этажом. Это первый приоритет. Конец записи».

Она закрыла дневник, провела рукой по шершавой кожа-

ной обложке, словно прощаясь со старым миром, и задула свечу. Комната мгновенно погрузилась в кромешную, абсолютную тьму — такую густую, что её, казалось, можно было резать ножом. Но теперь в этой тьме был крошечный огонёк на седьмом этаже, который продолжал гореть далеко внизу, словно маяк в штормовую ночь. Ева нашла его взглядом, зафиксировала, запомнила его положение относительно переплёта окна. И это меняло всё. Это значило, что она не одна в этом кошмаре. Это значило, что есть ради чего рисковать. Это значило, что у неё появилась причина жить дальше — не просто выживать, а жить, двигаться, действовать. С этой мыслью она, наконец, позволила себе закрыть глаза и провалиться в чуткий, поверхностный сон, готовая проснуться от малейшего шороха.

Глава 3: День 7. Закон джунглей

Седьмой день начался не с рассвета и не с привычного звука будильника, который канул в небытие вместе с электричеством. Он начался с жажды. С той первобытной, иссушающей жажды, которая не имеет ничего общего с легким желанием промочить горло после соленого ужина. Это была жажда на клеточном уровне, когда каждая митохондрия в теле, казалось, кричит о помощи, сжимаясь в сухую, безжизненную крупинку. Ева открыла глаза, и веки скрипнули, словно старая кожа, трущаяся о песок. Во рту поселилась пустыня. Язык, шершавый и неповоротливый, прилип к нёбу и напоминал кусок наждачной бумаги, забытый на солнцепеке. Мысли не текли, а ворочались, словно тяжелые камни в пересохшем русле реки, превращая сознание в вязкую, липкую кашу, в которой тонули любые проблески рациональности.

Ева ощутила боль в горле при каждом вдохе. Воздух, проходя через дыхательные пути, больше не увлажнялся, и теперь каждый вдох царапал трахею, словно она вдыхала не атмосферу, а мельчайшие осколки битого стекла. Губы, потрескавшиеся настолько, что любое движение причиняло резкую боль, кровоточили, оставляя металлический привкус на деснах. Она лежала в полузабытии, уставившись в серый

рассветный потолок, по которому ползли тени от покачивающихся за окном веток. Мозг лихорадочно пытался восстановить хронологию последних глотков. Память услужливо подкинула картину: вчера, когда солнце стояло в зените, она сидела на полу ванной, прижимая к губам горлышко пластиковой бутылки. Она переворачивала ее, трясла, пытаясь выжать из гравитации последнюю каплю влаги, скопившуюся на стенках. Капля, скатившаяся по пластику и упавшая на язык, была солоноватой от пыли, но тогда она показалась амброзией. Теперь же бутылка лежала рядом с кроватью — пустая, легкая, как предательство. Она была пуста, как и кастрюля на кухне, которую она вылизывала на третий день. Как и банка из-под соленых огурцов, рассол из которой она выпила на четвертый день, вызвав лишь новую волну нестерпимой жажды. Запасы воды иссякли окончательно и бесповоротно.

Сев на кровати, Ева совершила ошибку, сделав это слишком резко. Мир перед глазами покачнулся, словно палуба тонущего корабля. Головокружение было настолько сильным, что ей пришлось вцепиться обеими руками в простыни, чтобы не рухнуть обратно на подушку. Перед глазами заплясали темные пятна — фосфены, вызванные кислородным голоданием зрительного нерва. Ева слишком хорошо знала, что с ней происходит. Умом биолога, изучавшего физиологию по учебникам и на лабораторных крысах, она раскладыва-

ла свой распад на составные части. Она знала, что такое гиповолемия — уменьшение объема циркулирующей крови. Сердцу, лишенному привычной жидкой среды, приходилось качать густую, словно нефть, субстанцию. Отсюда и тахикардия, молотом отдающаяся в висках. Она знала, что потеря десяти процентов жидкости от массы тела — это порог, за которым начинаются необратимые изменения: отказ почек из-за накопления продуктов распада, бред, кома. Потеря двадцати процентов — это гарантированная смерть. Теория была проста и безжалостна: трое суток без воды — и человеческий организм превращается в биологический мусор. Но одно дело — читать об этом в теплой аудитории, попивая кофе из автомата, и совсем другое — чувствовать, как твои собственные ткани начинают пожирать сами себя, добывая эндогенную воду из мышечных волокон. Она прислушалась к себе: мышцы болели не только от голода, но и от того, что организм запустил катаболический процесс. Еще сутки такой пытки — и она просто не сможет встать с постели. Двое суток — и она впадет в протрацию, сопровождаемую яркими галлюцинациями. Трое — и этот дневник, ее единственный собеседник, останется лежать на груди высохшего тела, бессмысленной летописью конца света для несуществующих археологов.

С едой дела обстояли немногим лучше. Вернее, с ней дела обстояли паршиво, но на фоне жажды голод отступил на

второй план, превратившись в тупую, ноющую пустоту в животе, которая уже перестала требовать, а лишь злобно урчала при каждом движении. Последняя банка консервированной фасоли в томатном соусе, которую она съела вчера на закате, скребя ложкой по жестяным стенкам, закончилась. Холодная, склизкая фасоль легла в желудок свинцовой тяжестью. Была еще пачка гречки, но попытка разгрызть сухие зерна, твердые, как щебень, обернулась катастрофой. Острый край крупинки рассек десну, а обезвоженный организм, лишенный слюны для первичного расщепления крахмала, воспринял твердую пищу как вторжение. Рвота, сухая и мучительная, вывернула ее наизнанку, оставив лежать на полу ванной в липком поту. С тех пор она боялась даже смотреть на гречку.

Ева заставила себя подняться и, шатаясь, словно осенний лист на ветру, прошла на кухню. Каждый шаг отдавался в позвоночнике глухой болью. Она вяло перебрала оставшиеся запасы, разложенные на столе с педантичностью, которая граничила с безумием. Пакетик дешевого черного чая — если вскрыть его, внутри будет коричневая пыль, которая способна лишь окрасить воду, но не утолить жажду. Пачка соли, начатая упаковка сахара. Сахар она доела еще на четвертый день. Тогда это казалось спасением: она насыпала в рот по чайной ложке белых кристаллов, позволяя им медленно таять, вбрасывая глюкозу в кровь и давая короткий, пьяня-

щий прилив энергии. За этим следовал неизбежный крах, но ради нескольких минут относительной бодрости она была готова платить любую цену. Теперь осталась только соль. Белая, мелкая, экстра-класса. Соль без воды. Это была злая ирония, насмешка вселенной над ее биологическим образованием. Она знала, что если съесть ложку соли без воды, начнется осмотический шок, жидкость из клеток устремится в желудок, чтобы разбавить концентрат, и смерть наступит еще быстрее. Соль стала символом ее положения: вокруг был океан ресурсов, но все они были бесполезны без универсального растворителя.

Дрожащей рукой, на которой проступили синие русла вен, она открыла дневник. Шариковая ручка казалась неподъемной штангой. Почерк, раньше ровный и округлый, превратился в дерганую, угловатую клинопись, словно она выцарапывала буквы на глине, а не писала на бумаге. Но она заставляла себя выводить слова. Это был акт сопротивления. Пока она пишет, она мыслит логически, пока она анализирует свое состояние, она не превращается в загнанного зверя, движимого только инстинктами. Письмо было ее последней ниточкой, связывающей ее с Евой-студенткой, а не с Евой-жертвой.

«День 7. Внешние условия без изменений. Воздух сухой, запах гари и разложения с улицы усиливается. Вода — ноль.

Еда — ноль. Съедобного в квартире не осталось ничего, кроме соли и чайной пыли.

Физическое состояние: критическое. Сильная мышечная слабость, тахикардия в покое (около 120 ударов в минуту, если я правильно считаю пульс по таймеру в голове), выраженная сухость слизистых, ортостатический коллапс при попытке встать. Губы потрескались, язык обложен налетом. Диурез отсутствует почти сутки — функция почек угнетается.

Психическое состояние: на грани. Сон был прерывистый, фазы быстрого сна практически не было, только тяжелое забытие. Снилось река. Чистая, ледяная река из детства, куда мы ездили с отцом. Снилось, как я вхожу в воду по колено, зачерпываю ее ладонями, но она утекает сквозь пальцы, не попадая в рот. Проснулась от того, что лицо было мокрым. Плакала во сне. Даже во сне я не могу напиться. Воды нет.

Решение: сегодня нужно выходить. Промедление — смерть. Страшно не умереть. Умереть — это, наверное, легко. Просто заснуть и не проснуться. Страшно умереть, не попытавшись. Страшно лежать здесь и ждать, пока сердце остановится, понимая, что я даже не попробовала сделать шаг за дверь».

Она отложила ручку и замерла, прислушиваясь. Тишина в квартире была не абсолютной — дом жил своей загробной жизнью. Где-то внизу капала вода из прохудившейся трубы, этот звук сводил с ума. Но звук, который привлек ее вни-

мание, доносился из-за стены. Из квартиры четырнадцать. Сначала она приняла его за шуршание крыс — за неделю серые твари, никем не сдерживаемые, расплодились и осмелели настолько, что грызли плинтуса, не обращая внимания на ее присутствие. Она даже привыкла к их возне. Но этот звук был другим, и когда она наконец идентифицировала его, кровь в ее жилах застыла, став холодной и густой, словно гель.

Плач. Тихий, прерывистый, надрывный плач. Так не плачут взрослые. Так не кричат «Одержимые». Так плачут только дети, и не тогда, когда требуют внимания, а когда уже потеряли всякую надежду. Это был ребенок, вероятно, трех или четырех лет. Его всхлипы не были громким ревом, они были похожи на затухающее эхо, на звук затихающего колокольчика. Ева прижалась ухом к холодной бетонной стене, зажмурившись так сильно, что перед глазами поплыли искры. Она помнила этот плач из первых дней. Тогда он был громче, злее, в нем звучало требование: «Мама! Пить!» Теперь же он угасал. Он становился тише с каждым часом, превращаясь в едва слышное поскуливание. И это было в тысячу раз страшнее, чем любые крики «Одержимых», доносившиеся с улицы. Те кричали, движимые чуждым разумом или чистым безумием, их вопли были полны животной энергии. А этот ребенок просто умирал. Медленно, мучительно, в одиночестве, запертый в бетонной коробке. Его плач был

не обвинением, а прощением.

Рука Евы сама потянулась к дневнику. Она писала, и слезы — соленые капли влаги, которые ее организм еще мог себе позволить, — капали на бумагу, размывая чернила в бледно-синие кляксы.

«Я думала, самый страшный звук в этом новом мире — это крики Одержимых, возвещающие о том, что человечество кончилось. Оказалось, нет. Самый страшный звук — это тихий плач ребенка за стеной, которому я не могу помочь. Физически не могу. Я биолог, я будущий врач. Я должна спасать. Но стена между нами толще любой преграды. Я ничтожество. Или я человек, который вынужден слышать это, чтобы выжить?»

Дилемма разрывала ее сознание на части. Квартира четырнадцать. Она не знала, кто там жил. Кажется, молодая семья, она видела их мельком. Если дверь заперта изнутри, выломать ее без инструментов и без сил невозможно физически. Если там, внутри, родители превратились в «Одержимых», то, вскрыв дверь, она впустит в свой этаж угрозу. Если они мертвы, ребенок обречен. Если бы у нее была вода, еда, силы, она могла бы попытаться пробить перекрытие, найти лом, рискнуть. Но у нее не было ничего, кроме собственного угасающего тела. И рассудок, холодный и прагматичный, шептал ей: «Ты не спасатель. Ты даже себя спасти

не можешь. Этот звук — просто напоминание о твоём бессилии». Но сердце, то, что ещё билось под ребрами, кричало: «Он же там! Он живой!» Ей казалось, что она чувствует, как внутри неё умирает что-то важное. Эмпатия, сострадание — они становились непозволительной роскошью. На смену им приходила ледяная, неумолимая решимость. Решимость выжить. И эта решимость требовала заткнуть уши, заглушить в себе человечность и сделать шаг к двери, ведущей на крышу.

Решение выходить она приняла не умом. Мозг, обезвоженный и уставший, больше не генерировал сложных стратегий. Решение пришло из спинного мозга, из рептильного комплекса, который древнее любой цивилизации. Просто в какой-то момент ноги сами понесли её к балконной двери. Она открыла шкаф и начала одеваться, выбирая неудобную, но прочную броню. Джинсы, плотные, жесткие, которые могли бы хотя бы немного амортизировать укус. Свитер грубой вязки с высоким горлом, защищающий сонную артерию. Поверх него — легкая ветровка с капюшоном, скрывающая силуэт и волосы, чтобы не за что было ухватиться. Руки она обмотала полосами ткани, выдранными из старой простыни, — импровизированными наручами, которые могли спасти от поверхностных царапин, но вряд ли выдержали бы прямой прокус. Рюкзак, найденный в кладовке, она снарядила с прагматизмом, достойным скаута. Пустые пластиковые бутылки — их звон был опасен, но Ева понимала: най-

ди она воду и не имея тары, это будет крахом. Дневник, ручка — не просто сентиментальность, а способ сохранить раскладок, фиксируя реальность. Карта крыш, которую она чертила все эти дни, сверяясь с наблюдениями из окон и люка, была ее единственной навигационной системой. И, наконец, кухонный нож для разделки мяса. Широкий, тупой, с шатающейся рукояткой. Для ближнего боя он годился едва ли, но в ее руке он ощущался не просто куском металла. Это был якорь, талисман, экскалбур из помойки, дающий пусть иллюзорную, но такую необходимую сейчас уверенность в своей способности причинить боль тому, кто попытается причинить боль ей.

Путь вниз, через подъезд, был отрезан. Ева прекрасно понимала, что лестничная клетка — это вертикальный гроб. Там, в крошечной темноте, среди мусора и опрокинутых этажерок, «Одержимые» могли караулить на любой лестничной клетке. Запертые двери соседей, внезапный шум, отсутствие путей отхода — это была смертельная ловушка. Единственная артерия, ведущая к жизни, уходила вверх. Пожарная лестница, ржавая и вросшая в стену дома, была ее тропой в небеса. Она выбралась через окно своей комнаты на узкий балкончик, стараясь не смотреть вниз. Там, на асфальте, до сих пор лежали разбитые тела тех, кто в первый день События решил, что гравитация отменяется, или кого вытолкнули из окон в панике. Крыша встретила ее порывом ветра, про-

питанного гарью далеких пожаров и удивительным, щемящим запахом свободы. Ева выпрямилась во весь рост, раскинула руки и вдохнула полной грудью. Голова закружилась уже от другого — от простора. Здесь, на высоте седьмого этажа, она была невидима. Здесь не было стен, давящих на психику. Серое небо, рваные облака, бегущие на запад, далекие силуэты многоэтажек — мир казался почти прежним. Только улицы внизу кишели движением, которое не имело отношения к цивилизации.

Она двинулась по своему маршруту, развернув карту. Крыша была ее королевством. Перелезть через бетонный парапет, поросший мхом, пройти по узкому карнизу шириной в полметра, балансируя над пропастью, перепрыгнуть через зазор на соседнюю крышу. Каждое движение давалось ценой невероятных усилий. Мышцы, ослабленные голодом, дрожали от напряжения, сухожилия звенели как струны. Она не просто шла — она боролась с собственным телом, предательски норотившим сдаться. Страх падения отступил, сменившись холодной, спортивной злостью и концентрацией. Адреналин и кортизол, впрыснутые в кровь, сделали то, чего не мог сделать сахар, — они подарили ей несколько часов ясности. Она превратилась в тень, скользящую по кровельным покрытиям. Невидимка, наконец-то решившаяся спуститься со своего чердака на арену боевых действий.

Присев за массивной вентиляционной шахтой, пахнувшей пылью и голубиным пометом, она поднесла к глазам свое творение — самодельный бинокль. Две линзы разного диаметра, выковыранные из старого отцовского «Зенита», были неловко скреплены синей изолентой. Картинка двоилась и была мутной по краям, но давала достаточное увеличение, чтобы разглядеть ад, развернувшийся у супермаркета. Она нашла фокус, и дыхание перехватило. Там кипела жизнь, но это была битва муравейников. Людей было много, не меньше двух десятков, и они были разбиты на фракции.

Первая группа, человек десять, окопалась у восточного входа. Сразу было видно, что это организованная сила. Они были вооружены не монтировками и палками, а серьезным инвентарем: куски арматуры, бейсбольные биты с гвоздями, и главное — у одного, высокого мужика с окладистой бородой, было ружье. Двустволка, переломленная через руку. Бородач стоял в центре, словно режиссер, и раздавал указания жестами. Его люди работали четко, как муравьи: выносили коробки с консервами, упаковки бутилированной воды, блоки сигарет. Они не грабили — они проводили организованную эвакуацию ресурсов. Вторая группа, сгрудившаяся у западного входа, была иной. Меньше числом, но более голодная и отчаянная. Молодые парни, пара женщин с дикими, изможденными лицами. У них в руках были ножи, цепи, разбитые бутылки. Они не работали, они пытались про-

рваться. Они бросались на стеклянные двери, но откатывались под методичными ударами группы Бородача. Переговоры шли на языке криков и ударов.

Ева заметила два тела, лежащие между группами. Свежие, еще не тронутые вздутием. Лучи солнца играли на лужах алой, почти еще жидкой крови. Стычка произошла на рассвете. Она напрягла зрение, пытаясь уловить тактику. Бородач явно был бывшим силовиком или военным. Его люди не поддавались провокациям, держали строй, прикрывали друг друга. Атакующие же, ведомые голодом и жаждой, лезли в лобовую, и это было их фатальной ошибкой. Ева увидела, как один из атакующих, совсем еще юный парень лет двадцати, с дурацкой татуировкой на шее, бросился на одного из защитников, размахивая ножом. Он был быстр, но бессиствен. Бородач спокойно поднял ружье, не целясь особо, выстрелил. Звук выстрела, гулкий и раскатистый, докатился до крыши спустя секунду. Парень споткнулся, схватился за голову, упал. Ева видела, как Бородач подошел к нему. Она надеялась, что он просто проверит тело. Но Бородач деловито, будто выполняя рутинную работу, приставил ствол к голове лежащего и нажал на спусковой крючок. Контрольный выстрел. Вороны, пировавшие на проводах, взмыли в небо. Ева зажмурилась, ее плечи содрогнулись от беззвучного спазма. Желудок подкатил к горлу, но выходить было нечему. Это было не убийство в состоянии аффекта. Это бы-

ла казнь. Хладнокровная, прагматичная утилизация конкурента. Жизнь человека стоила меньше, чем банка тушенки, которую он пытался украсть.

Она отползла за шахту и, достав дневник, написала трясущейся рукой прямо на весу, используя рюкзак как планшет: «Люди страшнее монстров. Только что наблюдала убийство. Не защиту — именно убийство. Одержимые лишены разума, они как больные животные, их агрессия — это патология. А эти... эти убивают осознанно, с холодным расчетом. За воду. За еду. За право контролировать вход в супермаркет. Закон джунглей в действии. Право сильного. Иерархия доминирования. И в этих джунглях я — слабый, травоядный одиночка. Я никто в этой пищевой цепочке».

Дождавшись, пока солнце начнет клониться к закату и стычка окончательно затихнет, победители скроются в недрах супермаркета, унося добычу, а побежденные разбегутся по подворотням, она начала спускаться. Ее целью не был супермаркет. Спускаться туда сейчас означало бы совать голову в пасть ко льву. Ее целью был тот самый убитый парень. Он лежал на отшибе, на нейтральной полосе, которую обе стороны пока обходили стороной. Его тело, скрюченное у колеса перевернутого фургона, еще не обыскали мародеры. А на спине у него виднелся рюкзак. Ева не знала, что внутри. Может быть, пустота. Может быть, сокровища. Но в мире,

где ресурсы стали валютой, каждый необысканный труп был лотерейным билетом.

Спуск по пожарной лестнице напоминал скалолазание. Каждая ступенька грозила оборваться. Оказавшись на земле, она прижалась спиной к холодной стене и перебежками, от одной припаркованной машины к другой, добралась до фургона. Запах разложения ударил в нос еще за несколько метров. Сладковатый, тошнотворный, он пробивался даже через обезвоженные рецепторы. Тело лежало в луже свернувшейся крови, неестественно подвернув руку. Ева перевернула его, стараясь не смотреть в остекленевшие, подернутые мутной пленкой глаза, в которых застыло удивление. Она расстегнула молнию рюкзака, и сердце пропустило удар. Сначала она вытащила полупустую бутылку воды. Она не стала оставлять ее в сторону, а немедленно, забыв об осторожности, сделала глоток. Теплая, с привкусом пластика, вода показалась жидкой жизнью, просочившейся в каждую клеточку. Затем она достала две банки тушенки — тяжелые, надежные. Бинты, сухое горючее — мелочи, которые в новом мире ценились на вес золота. А потом ее пальцы нащупали нечто, что заставило ее замереть. Это был не пистолет и не граната. Это был арбалет. Компактная туристическая модель, видимо, доработанная умельцами: усиленные плечи, удобная пистолетная рукоять. И колчан с четырьмя тяжелыми болтами с металлическими наконечниками.

Ева взяла арбалет в руки. Металл охлаждал разгоряченные ладони, приклад удобно ложился в плечо, словно был создан для нее. Это не было оружием массового поражения, в нем не было грохота и пороховой вони. Это было оружие тишины и точности. Оружие хладнокровного охотника, а не паникующего солдата. Она никогда не держала в руках ничего подобного. Максимум — скальпель на вскрытии лягушки. Но сейчас, ощущая эту тяжесть, она почувствовала, как внутри ломается какой-то барьер. Страх сменился каким-то мрачным спокойствием. Она больше не потенциальная жертва. Она — угроза. Она — существо, способное пронзить плоть врага на расстоянии, без шума, не выдав своей позиции.

Именно эта мысль заставила ее похолодеть. Убить. Чтобы защитить воду в рюкзаке, чтобы защитить свою жизнь, ей, возможно, придется нажать на спуск и увидеть, как оперение болта входит в чью-то грудь. Ева, студентка-биолог, мечтавшая работать в фармакологии и создавать лекарства, спасающие жизни, теперь держала в руках инструмент, созданный для одной-единственной цели — отнимать жизнь. Она посмотрела на свои руки. Грязные, с обломанными ногтями, ссадинами на костяшках. Это были руки человека, прошедшего адскую неделю. Она снова достала дневник. Ей нужно было зафиксировать этот момент, иначе он мог сломать ее психику.

Она писала, прислонившись к колесу фургона, чувствуя запах смерти и близость спасения:

«Нашла рюкзак погибшего парня. Вода, еда, арбалет. Я взяла его в руки. Он подходит мне. Я думала, что самое сложное в этом мире — найти воду. Оказалось, самое сложное — это переступить через себя и понять, что теперь ты — звено в цепи насилия. Самое сложное — принять решение, что ты готова убить, чтобы выжить. Я даю себе клятву, здесь и сейчас. Я не превращусь в зверя. Я не стану такой, как тот бородастый убийца. Я не буду убивать ради наживы. Я буду защищаться, если на меня нападут, но не стану нападать сама. Я буду помнить, что я человек. Даже если весь мир забыл, что значит это слово. Даже если тихий плач детей за стеной станет обыденностью. Я найду способ остаться человеком или умру, попытаюсь. Конец записи».

Она убрала дневник на дно рюкзака, а арбалет повесила на плечо. Солнце садилось, заливая руины кроваво-красным, апокалиптическим светом. Ева знала, что темнота в этом городе принадлежит другим. Нужно было возвращаться. Но прежде чем уйти, она бросила последний взгляд на парня. Кто он был? Выживальщик? Бывший спортсмен? Человек, у которого тоже были мечты? Теперь это не имело значения. Теперь он был просто уроком, застывшим предупреждением: в мире, где рухнули законы, слабые умирают первыми.

Она поклялась себе, что не будет слабой. Но она поклялась и в другом — что не станет зверем в человеческом обличье. Она найдет третий путь. Путь человека, вооруженного не только арбалетом, но и совестью, в мире, где человечность стала валютой, которую больше никто не принимает к оплате.

Возвращение на крышу прошло как в тумане. Когда она, обессиленная, сползла по стене в своей квартире, в комнате было темно и холодно. Но у нее была вода. Она сделала еще один глоток, на этот раз экономный, расчетливый, позволяя влаге медленно впитаться в слизистую. Жизнь возвращалась в тело вместе с тупой болью в мышцах. Она зажгла огарок свечи и посмотрела в окно на дом напротив. Там, в окне седьмого этажа, горел огонек. Ее невидимый сосед был жив. Завтра она попробует установить контакт. Но сегодня у нее был арбалет, запас еды на пару дней и, что важнее, ясность цели. Завтра она начнет охоту. За ресурсами, за правом жить. За возможностью остаться собой. И этого было достаточно, чтобы пережить еще одну ночь в умирающем городе.

Глава 4: День 14. Гнездо

Две недели. Четырнадцать дней — срок, который в прежней, нормальной жизни пролетал как одно мгновение, затерявшись между рабочими дедлайнами, посиделками с друзьями в пятницу вечером и воскресной стиркой. Теперь же эти две недели ощущались как целая жизнь, спрессованная в бесконечный, изматывающий марафон на выживание. Они отделяли её от того утра, когда она проснулась в звенящей тишине своей уютной квартиры и ещё не знала, что мир за окном кончился. Утро, начавшееся с мыслей о кофе и недописанном отчете, завершилось крахом всего. Теперь Ева измеряла время не часами и минутами — механические часы на руке давно встали, а экран смартфона погас навсегда, превратившись в бесполезный кусок пластика и стекла. Время измерялось расстояниями, пройденными по осклизлым, опасным крышам, глотками воды, которых оставалось всё меньше во фляге, и количеством болтов в колчане — неумолимым, пугающим счетчиком её боеспособности. Три болта. Всего три. Один она потеряла на прошлой неделе, когда тренировалась стрелять по ржавой консервной банке, установленной на краю крыши. Болт, сорвавшись с тетивы, улетел в зев переулка, звякнул где-то внизу в крошечной темноте, и достать его не было никакой возможности, не спус-

каясь на кишащий опасностями уровень земли. Теперь каждый выстрел должен был быть на счету, каждый промах мог стать фатальным, и эта мысль давила на плечи тяжелее любого рюкзака.

Но не только голод и жажда определяли ритм её существования в этом новом, изуродованном мире. Город менялся. Не просто разрушался, как она ожидала в первые дни, наблюдая за пожарами и обрушениями, — он начал цвести. Именно это слово, парадоксальное и почти поэтическое, пришло ей в голову, когда она впервые заметила странную субстанцию на стенах заброшенного торгового центра «Океания». Сперва она приняла это за плесень — черную, влажную, покрывающую бетон причудливыми, абстрактными разводами, похожими на карту неведомого архипелага. Но приглядевшись, задержав взгляд дольше, чем того требовала обычная осторожность, Ева поняла, что чудовищно ошибается. Плесень не двигается сама по себе. Эта субстанция пульсировала. Медленно, ритмично, словно дышала — делала вдох и выдох с размеренностью спящего великана. Она была живой. Более того, от неё исходило ощутимое тепло, что противоречило всем законам биологии, которые Ева, как дипломированный микробиолог, знала досконально. Сапрофиты не генерируют тепло. Грибы, даже самые крупные, не имеют мышечной ткани, способной к сокращению. А это нечто сокращалось и расслаблялось, как гигантское сердце,

как диафрагма неведомого зверя, разросшееся по стенам человеческих построек. Это было не просто открытие — это было крушение всей её научной картины мира, столкновение с реальностью, которая отказывалась подчиняться прежним аксиомам. Она стояла на крыше, вцепившись в холодный парапет, и смотрела, как чуждая жизнь мерно колышется внизу, и внутри неё боролись ужас и жгучее, почти болезненное любопытство исследователя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.